



Виктор ХОВИН

Великолепные неожиданности

Хорошо когда в желтую кофту
Душа от осмотров укутана.

Владимир Маяковский

I

Зычно трубит призыв свой Н. Н. Евреинов.

«Тра-та-та!
Звените мои бубенчики!»...

Шумлива восторженная книга его «Театр как таковой»,
и шум ее захлестывает читателя, опомниться не дает.

Звонкая труба оглушает.

Где уж тут до истины?

К черту истину, к черту полутона!

Ужели остановиться там, где развернулась такая блестящая,
такая дурманящая фантасмагория?..

Ну-ка подхлестните свою фантазию, подхлестните свою волю
к жизни, вы, потерявшие вкус к ней, ибо театральностью обеща-
на вам новая Земля, лучшая, чем окружающий нас мир, — мир
реальных фактов и обстоятельств.

Да бросьте же свою скучную логику, глупые люди, поверьте
этому апостолу в развеселых ризах гаера, поверьте ему, захлеб-
нитесь в радостях его обольщений, захлебнитесь в его «тра-та-
та»!

Ах, не хотите?

Вам мало трубного гласа этой книги, так нате же вам другую.
И зазвенели теперь бубенцы «Театра для себя».

Вы не поверили раньше, что человеку присущ инстинкт преобразования, инстинкт театрализации жизни, вы не поверили, что в вашей воле преобразить свое жалкое существование в необычайной красоты действие, так вот — теперь театр уж не только инстинкт, одинаковый инстинкту самосохранения, половому и проч.

Нет, театр — Всемагнит и Всемотор!

Не хотели инстинкта, так вот вам театрокранию, абсолютное господство театра над нами.

Ничего вне театра, все театр! Вот альфа и омега бытия.

И только хлебу сделана уступка, да и то потому, что без хлеба нет «физической возможности воспринимать зрелище».

А на помощь призваны цитаты, — цитаты из писателей, поэтов, ученых, философов, педагогов, отчетов попечительств о малолетних преступниках, мемуары, письма и т. д., и т. д., без конца.

Все преувеличено, преувеличено безбожно, выхвачено, подчеркнуто.

Истина?

К черту истину!

Ужели и на этот раз не захлебнетесь?..

Однако, и я, захлебнувшийся, начинаю пугаться: а что если и впрямь вдовы по рецепту, даваемому Евреиновым, в этом же номере «Очарованного Странника», что если и впрямь вдовы, увлеченные идеей «театра для себя», идеей инсценировки воспоминаний, начнут подогреть обувь своих умерших мужей, чтобы она дала запах покойного?

Не слишком ли? А впрочем...

Тра-та-та! Звоните мои бубенцы!..

Даже дух захватывает от такой головокружительной скачки. А кругом груды фактов и маски, маски без конца.

Вся уголовщина поднята на ноги, все ужасы из учебников патологий. Преступники, маньяки, сладострастники, самодуры «заграничные» и «отечественные».

Поистине Всемагнит и Всемотор, альфа и омега.

Теперь ли сомневаться в театрокрании? Уж так несомненно, что даже Евреинов не может скрыть улыбку радости при перелистывании этого увлекательного альбома прельстительных масок.

Шутовская улыбка развеселого гаера.

Однако, быть может, пора прекратить эту недостойную игру такими страшными вещами?

Ведь и игра может быть недостойной и страшной...

Но успокойтесь, прислушайтесь к неожиданным и странным словам:

«Я трублю вам, как гаер сегодня и святой завтра».

Не новые ли интонации в развеселом гоготе «крикливого шута Ее Величества Жизни», и не заискрилась ли святостью пестрая риза его?

Не напрасно же лучшие слова свои сказал он в главе «Дон Кихот и Робинзон».

И, не уподобимся мы теперь Санчо Пансо и не спросим:

«Но вам-то, ваша милость, из-за чего сходить с ума?»

Ибо узнали мы в этом гаере современности, в этом шумливом апологете театральности Дон Кихота сегодняшнего дня, а в оглушающей трубе его, зовущей к театрализации жизни и посягающей шумом своим, нахрапом, вырвать мир из лап логических необходимостей, — великолепное копье Печального Рыцаря.

Там, где на Дон Кихота повеяло восхитительнейшими ароматами, там Санчо Пансо услышал запах пота.

«Чей жребий слаще? — спрашивает Евреинов. — Какой выбор благороднее, результаты какого выбора желательнее в этом проклятом мире, где, не будь мы “quand même” * Дон Кихотами, не найти ни одной Альдонсы, от которой пахло бы разжиженной амброй...»

Но он обрел свое донкихотство и оправдал свое право на него, ибо нашел Альдонсу свою — великую театральность и повеяло на него восхитительнейшими ароматами творческого преобразования жизни.

Он оседлал своего Россинанта, и его Россинант оказался быстроногим безумцем.

И не напрасно заговорил он о другом странствующем рыцаре, «сумасшедствующем без всякой причины», — о Робинзоне...

«Ведь, если вы любите сказку, вы должны хотеть этой сказки и в жизни; если вы называете детство золотым, вы должны хотеть раззолотить его золотом и свою взрослость».

От развеселых риз развеселого гаера к облику Рыцаря Печального Образа, от увлекательного и увлекающего позерства к той высшей искренности, которая осуществляется ребенком, предоставленным в детской самому себе, от изысканности утонченных масок современности к звончатым шелестам маскарадных украшений дикаря.

И самое значительное: «когда я говорю театр, я слышу разговор ребенка с неодушевленными предметами...»

* все-таки, тем не менее (фр.). — Ред.

Ах, должны же вы себе представить, ну, представьте же себе какие будут это слова, — нежные, донкихотствующие слова.

И ведь если же вы действительно любите сказку, господа, вы должны хотеть этой сказки и в жизни!..

II

«Не быть самим собой», — вот императив театральности, взыскующей о нездешнем и вот неожиданное выявление ее — Владимир Маяковский!

Невероятно себя нарядив
Поиду по земле, чтоб нравился и жегся.

Пусть возрадуется Евреинов клоунаде, которую творит он, этот гаер сегодня и святой завтра. Пусть аплодирует ему, пусть аплодирует кричащим нарядам этого «актера для себя», ибо вот она, воплощенная театральность, та театральность, когда воля к театру, воля не быть самим собой разрешается в величайшей откровенности, разрешается в той детскости, которая не стесняется себя.

Театральность и последняя откровенность! — О, это поистине парадоксы творческого духа.

...Я
Весь из мяса,
Человек весь.

Кто решится на такое признание?

Кто решится так-таки на публике сделать такую гримасу, отважится на такую детскость?

А вот Маяковский отважился.

Для чего?

Но, видите ли, господа, «дважды два превосходная вещь, но дважды два — пять, премилая иногда вещица».

Захотел и сделал...

Ну, что ж, гримасничайте, гримасничайте, Владимир Маяковский, покажите себя во всей своей наготе, со всеми своими хотениями неожиданными.

Недаром же в «Театре для себя» ссылки на Достоевского. А ведь, вы помните, в «Записках из подполья»:

«С чего это непременно вообразили они (мудрецы), что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения... Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны. Вот я вам сейчас еще сквернее руладу сделаю».

А я человек, Мария,
 Простой
 Выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.

Мало, так слушайте еще:

Голодненькие потненькие покорненькие
 Закившие в блохастом грязненьке
 Идите.

Растет и ширится ужасная маска, как клещами сдавила нас.
 Довольно, довольно, Владимир Маяковский, вы сами не вы-
 держали гримас своих, вы уж не говорите, а стонете.

Меня сейчас узнать не могли бы!
 Жилистая громадина стонет корчится
 Что может хотеться этакой глыбе
 А глыбе многое хочется.

Но, позвольте, уж и вы ли не собираетесь донкихотствовать?
 Тогда продолжайте; мы, кажется, начинаем понимать вас, вели-
 кий актер, великий гримасник.

Мама!
 Ваш сын прекрасно болен.
 Мама!
 У него пожар сердца.

Какие другие слова? Кто мог ожидать от громадины жилис-
 той: мама!

Где же то nihil, которое поставлено было над миром? Не здесь
 ли:

Мама!
 Петь не могу
 У церковки сердца занимается клирос...

Так вот он какой, этот Маяковский?

О, как наивна, как мило-смешна эта устрашающая нас маска,
 какие наивные и смешные слова знает она; и много еще других,
 хороших слов теплится там, в церковке сердца.

Она может быть ласковой, эта жилистая громадина, и из нее
 много, много лучистых и светлых глаз просится выглянуть.

Но не пускает великий гримасник, и как же пустить их, когда

Мы
 Каторжане города лепрозория
 Где золото и грязь изъязвили проказу.

Как же пустить их, одиноких и пугливых, их так легко оскорбить, а главное, они сами так оскорбительны для этого мира, изнывающего в трагизме своем?

Как же пустить их, когда

Улица корчится безъязыкая
Ей нечем кричать и разговаривать.

Улица корчится, и этот странный Дон Кихот обрек себя из любви к мельчайшей пылинке живого на корчи и муку.

Мучится и корчится в каком-то иступленном сладострастии, иступленный любовник Жизни, нежный и ревнивый любовник, — наглый и дерзкий хулигатель неба, восставший на него за муку любовницы своей...

«Облако в штанах» — блестящая книга блестящих, великолепных неожиданностей.

Недостатки?

О, их много, без конца, но не о них говорить.

Ибо самое главное в этой книге — угроза ее, — угроза стать частью нашего взыскующего духа, так как поистине она — кровавые лоскутки сердца современности.

